



## ТОМАС МАНН

### Русская антология

Гость ушел, и вот снова сидишь в комнате один и думаешь. О том, как жизнь опять и опять устанавливает отношения, реальные отношения между нами и сферами действительности, которым прежде, в зыбкой юности, ты был склонен приписывать существование лишь умозрительное, легендарное. Жизнь — это осуществление, реализация в любом смысле, но потому-то она и фантастична; ведь мечтателю действительность кажется более причудливой, чем любая мечта, и влечет его сильнее. Но как немислимое дело предательство, так же подчас кажется нам немислимым жить, то есть сбываться; так казались несбыточными предательство, измена в нашей чистой от свершенья юности. Да, ты был молод — зыбок, чист и свободен, всегда насмешлив и робок, ты не верил, что действительность когда-нибудь «достанется» тебе хоть в каком-нибудь смысле. Но потом жизнь все-таки поднесла тебе свои осуществленности, одну за другой, и сейчас, вспоминая об этом, ты покачиваешь головой. Свершались дела и с нашей стороны, и со стороны ближних наших — свершались с суровостью жизни, не на шутку, с ужасающей окончательностью, а мы возмущались этим, воспринимая как предательство прежней их неосуществленности со всех сторон. И все же не нам жаловаться, — ведь мы и сами уже довольно далеко продвинулись в осуществлении, у нас есть работа и место в жизни, у нас есть дом и семья и все остальное, что можно назвать фактами жизни, суровыми или человечески уютными; а если мы втихомолку и сохраняли подчас верность своей свободе и непричастности, если в самой глубине нашей души оставалось что-то от юношеской насмешливости и робости, мы все-таки тоже научились совершать такие нешуточные дела. Фантастически неожиданная действительность, мы признаем твой смертельно серьезный характер! Ибо какой бы ни заблагорассудилось принять тебе вид,

бледный от страсти или человечески уютный, — всем твоим обликам, в каких ты нам предстаешь к нашему недоверчивому просветлению или потрясению, присуще нечто страшное или священно-угрожающее, всеми своими очами говорят они о своем родстве с последним в их ряду, который тоже «достается» нам напоследок, — о несомненном семейном сходстве со смертью. Да, в конце нам достанется и новый чин осуществленья, чин смерти — кто бы мог подумать! — а любая действительность, бледная или просветленная, носит на себе ее черты.

— Ну вот, что за речи! Так уж надо было начинать прямо со смерти? Что ж дальше-то будет?

У меня был гость. Посланник из мира — с предложением, с заказом из этой безбрежной дали. Нужно кое-что симпровизировать, такой небольшой этюд на литературные темы для образованной публики.

— Ну, это немного.

Да конечно, пустяки, речь идет всего лишь о безделице. На такой-то случай у нас, у немцев, и есть выражение «придавать значение». Превосходное выражение, прямо-таки созданное для пишущих! Ведь сочинитель — не тот, кто выдумывает на пустом месте, а тот, кто берет вещи и «придает им то или другое значение». Вот еще одно определение... А речь шла вот о чем: посланник из мира установил для меня отношения, фантастически реальные отношения к некоей умозрительной, легендарной сфере. Ближе к делу: всплыла одна старая любовь, ей дали некоторый чин осуществленья, сделали ее почетным заказом. Еще ближе к делу: один толстый журнал собирается, для содействия изысканиям в области этнопсихологии, издать серию особых выпусков с переводами из зарубежной художественной литературы. Ближайший выпуск задуман как русская антология — он будет посвящен русской прозе, а нам предназначена роль автора введения. — Введения? Бог знает, как это сделать, как решить такую задачу, чтобы образованный читатель остался доволен. А пока сидишь и думаешь.

Был ты молод и зыбок — и держал на своем столе портреты легендарных мастеров, дабы перед ними преклоняться. Что это были за портреты? Меланхолично-артистическая голова Ивана Тургенева да патриархальная фигура Гомера из Ясной Поляны, с рукою, засунутой за ремешок, в мужицкой рубахе... Экзотические мастера и портреты для преклонения — их легенде была отдана гордая и простодушная благодарность. Тот, кто ее питал, придавал лирическую точность завораживающей формы их тво-

рений первым своим шагам в прозе, первым испытаниям своих сил. А что же нас питало и поддерживало в то время, когда наша зыбкая юность взвалила на себя труд, требовавший от себя большего, чем требовала от него она сама? То было морализаторское творчество второго — многомудрого носителя эпически-исполнинских нош, Льва Николаевича Толстого.

Так вот, эти двое были представлены портретами — и неспроста. А какой признательностью, какой любовью пользовались все они, гении из этой сферы — от погрузившихся в глубины истории до живших совсем недавно, умерших уже при нашей жизни, и таких, которые, надо думать, еще живы и здоровы, хотя и на огромном от нас расстоянии, и свершают свои гоголевские судьбы, свои полные глубокого смысла, гротескные и достославные гоголевские судьбы, умерщвляя в себе плоть, свою сильную, провидческую плоть, гораздо все же более духовную, чем их «дух», — умерщвляя ее, потому что «жить в Боге — значит жить вне плоти», и уже зашедших тут в достославной своей гротескности столь далеко, чтобы при всем честном народе ставить миссис Бичер-Стоу выше Шекспира и Бетховена — в том же духе, в каком ведь и Гоголь под конец проклял искусство и предал огню свои рукописи, включая и второй том «Мертвых душ», правда, разразившись после этого слезами и словами: «Как лукавый силен, — вот он к чему меня подвинул!»

Тургенев как-то заметил: «Все мы вышли из гоголевской „Шинели“», — причудливая шутка, дающая наглядное представление о невероятной однородности и замкнутости этой сферы, то есть того из ее проявлений, что, быть может, очаровывало нас в ней прежде всех других: величайшей эстетической и динамической силы воздействия. Есть рассказы у Алексея Толстого, современного коллеги, который ходит ныне во плоти да чай пьет, — рассказы, звучащие, правда, на современный, а на мой вкус и вовсе экспрессионистский лад, но при всей своей игриво-меланхоличной фантастике и человечности так по-гоголевски, что на душе от них становится и восхитительно и смешно, смешно от радости узнавания, когда видишь это единство и неразрывность традиции. Да ведь, в сущности, все они тут, эти мастера и гении: вот они тянут друг к другу руки, а круги их жизней глубоко пересекаются. Гоголь читал страницы своего романа великому Пушкину, и тот хохотал во все горло, — а потом вдруг сделался грустен<sup>1</sup>. Лермонтов — их современник. Тургенев, о чем мы так склонны забывать по той причине, что слава его, как и слава Достоевского и Толстого, падает на вторую полови-

ну девятнадцатого столетия, явился на свет лишь на четыре года позже Лермонтова и был на десять лет старше Толстого, которого, лежа на смертном одре, заклинал «вернуться к литературе». А очень близкий нам, живой и ультрасовременный Сологуб двадцать лет жил при Тургеневе, родившись лишь через одиннадцать лет после смерти Гоголя!

Принадлежащим к истории, уже не современным, кажется нам, в сущности, один Пушкин, этот восточный Гёте. Пушкин — самодовлеющий мир, играющий лучами чувств, мир свежий, веселый и поэтический. Но уже с Гоголем в литературу сразу приходит то, что Мережковский назвал «критикой», или «переходом от бессознательного творчества к творческому сознанию», и что кажется ему, правда, концом поэзии в пушкинском духе, но в то же время и началом чего-то нового, сильно заряженного будущим. Одним словом, начиная с Гоголя русская литература становится современной; в его лице одним махом уже явилось все то, что отныне будет составлять неразрывную цепь традиции в ее истории: вместо поэзии — критицизм, вместо свежести — религиозная проблематика и вместо веселости — комизм. В особенности этот последний.

Начиная с Гоголя русская литература комична; но ее комизм — это комизм реалистический, комизм страдания и сострадания, глубочайшей человечности, сатирического отчаяния, а еще — просто избытка жизненных сил; но вся она всюду пронизана стихией гоголевского комизма. Необузданным комизмом пронизан даже эпилептико-апокалиптический, призрачный мир Достоевского, — он ведь, кстати, написал откровенно юмористические романы, такие как «Дядюшкин сон» и исполненное духа Шекспира и Мольера «Село Степанчиково».

А этот серьезный, многомудрый Толстой — ведь и он мог быть безудержно веселым, иногда и там, где он больше всего морализирует, скажем, в рассказах для простого народа. И вот, этот русский юмор со всей своей правдивостью и задушевностью, фантастической невероятностью и глубокой, покоряющей забавностью, положи руку на сердце, — самый притягательный, самый отрадный юмор в мире: с ним не сравнится ни юмору английскому, ни жан-полевскому, не говоря уж о Франции, чей юмор просто *sec* (засушенный — фр.); а если что-то подобное и можно встретить вне России, там очевидно русское влияние, как, к примеру, у Гамсуна. Но что же придает русскому юмору такие человечески привлекательные черты? Без сомнения, то, что рождается он на почве религии — это можно видеть уже в его

литературных истоках, у Гоголя, от которого и пошла вся традиция. В одном из писем он говорит: «Все мои стремления направлены к тому, чтобы всякий, кто прочтет мои произведения, смог от сердца посмеяться над чертом». «Выставить черта шутлом гороховым» — в этом и состоит мистический смысл русского комизма, а «посмеяться от сердца» — поистине точное выражение его воздействия на людей.

«Священная русская литература» — так называли мы ее в одной юношеской новелле, будучи склонны к исповедальности и восхваленьям и не ведая о том, что далеко на севере, в Дании, ее уже точно так же назвал наш собрат — Герман Банг. Жизнь в духе — как же она объемлюща, прекрасна и полна сочувствия!

Излюбленная духом сфера! Сфера моральных раздумий, страданий, сфера человеческая и юмористичная. Легенда юности, русская литература! Личная прикосновенность к ней в плоскости буржуазно-наличной, установление реальных отношений к ней было экзотическим сновидением, уже там и сям пытавшимся стать явью жизни. Когда мне было лет двадцать пять или немногим больше, было объявлено, что Толстой приедет на Конгресс мира в Кристианию<sup>2</sup> и будет там выступать. Я пересчитал свои средства и решился, затратив три четверти, тут же ехать в Кристианию, чтобы увидеть Толстого. Говорили, что он невысок ростом и большеголов, как Вагнер. Но Толстой заболел и не поехал. Так я и знал, — но, в сущности, был даже рад этому. Толстой так и остался легендой.

Через несколько лет ко мне на дачу приезжал знакомиться один господин из Петербурга, русский немец, — он предлагал мне лекционный тур по России. Я должен был выступать в Москве, Петербурге, Риге и Гельсингфорсе, а о деталях можно было договориться позже. Это было сказочное предложение. Я мог побывать в гостях у литературных потомков Гоголя — Андреева, Сологуба и Кузмина. Я ел бы с ними пироги и пил бы чай — не исключено, что дело не обошлось бы без соленых грибочков, водки и папирос; и кто знает, может быть, они говорили бы мне: «Помилуйте, батенька!» или «Посудите же сами, Фома Генрихович!» Но началась мировая война, и поездка в гоголевский мир не состоялась.

А когда война кончилась, я узнал вот что Александр Элиасберг<sup>3</sup> сообщил мне, что Мережковский, с которым через него я как-то раз, словно в сказке, обменялся приветом, Мережковский, бежавший от большевиков, находится в Варшаве и собирается в Германию, в Мюнхен, чтобы навестить меня. Дмитрий

Мережковский! Самый гениальный критик и психолог мирового класса со времен Ницше! Мережковский, чья книга о Толстом и Достоевском произвела на меня в двадцать лет столь неизгладимое впечатление и чей тоже совершенно неподобный труд о Гоголе буквально ночует у меня на столе! Кому же хочется выглядеть провинциалом? И потому я вальяжно отвечал, что, разумеется, с удовольствием приму господина Мережковского. Но в глубине души ни капельки этому не поверил. Разве может легенда сидеть у тебя в комнате? Так не бывает. Так это и не сбылось. Мережковский не приехал в Мюнхен и уже только поэтому не пришел ко мне в гости. Жизнь — это, безусловно, осуществление, но все имеет свои пределы.

А вместо этого — вероятно, в виде вознаграждения — Элиасберг посвятил мне своих «Новых русских прозаиков», ту антологию новой и новейшей восточной новеллистики, которая, надеюсь, уже известна читателям этого выпуска. Мой превосходный посредник, конечно, знал, что я «придам значение» этой прекрасной связи моего имени с русской литературой. Но вряд ли он знал, как сильно, как глубоко он меня обрадовал, установив эту скрепу и связь, и каким маленьким праздником любви было для меня глядеть на это посвящение. Вот именно! Ведь я подозревал, что тот или другой из отростков гоголевского корня, переведенных тут на немецкий, прочел там у себя, вдали, кое-что из моих вещей, и прочел к своему удовольствию. Отрадный обмен! Прекрасный и дружелюбный простор жизни в духе!

Так, оказывается, сегодня мне самому выпало на долю открывать парад русских писателей, вводить немецкого читателя в их сферу? Какие только чины осуществленья не приходится переживать раз за разом! Но вот как с честью выйти из этого приключения, толком и не знаешь.

Пожалуй, всего лучше будет, раз уж я начал в лирико-исповедальной манере, так и продолжать. Признаюсь, мое отношение к русской литературе кажется мне сейчас более чем когда-либо — или, точнее, по-настоящему именно сейчас — делом жизненной важности, а если уж говорить прямо, делом жизненно важным и значимым для духа. В действительности у сына девятнадцатого столетия, бюргерской эпохи есть два переживания, устанавливающих для него связь с современностью, предохраняющих его от косности и духовной смерти и перекидывающих для него мосты в будущее: это переживания Ницше и русской души. То и другое вместе. Эти переживания носят совершенно различный национальный характер, верно; на первый взгляд и не поду-

маешь, что у них есть что-то общее. И все-таки есть у них один общий, главнейший и сверхнациональный момент: оба они имеют религиозную природу, религиозную в некоем новом, жизненно важном и несущем в себе будущее смысле. Что же это за смысл?

Мережковский, характеризуя русскую «критику», пришедшую в литературу с Гоголем, как прогресс в отношении пушкинской «поэзии» и называя ее «переходом от бессознательного творчества к творческому сознанию», дает ей там же еще одно, более многозначительное имя: он называет ее «началом религии». Критика как начало религии! Да ведь это же Ницше! Ницше применял крайние средства в своей войне с христианством и «аскетическими идеалами», не брезгуя даже методами позитивистского просвещения. Но он метал свои перуны в христианство отнюдь не ради позитивистского просвещения, а ради новой религиозности, нового «смысла земли» и ради освящения плоти во имя «Третьего царства», о котором говорил Ибсен в своей религиозно-философской драме, — царства, синтезированная идея коего уже несколько десятилетий как перелилась через края мира и теперь шлет свои лучи далеко за пределы нищих царств земных. Это царство — синтез просвещения и веры, свободы и оков, духа и плоти, «Бога» и «мира». И нам кажется, что борьба за это «царство», за новую человечность и новую религию, за оплощение духа и одухотворение плоти со времен Гоголя нигде не шла более отважно и искренне, как в русской душе. В ее ходе бывали почетные поражения, отступления в аскетический радикализм той идеи, что «жить в Боге — значит жить вне плоти»: так и Гоголь напоследок попал в лапы к ужасному отцу Матвею, так и у Толстого не хватило «просвещения» и «критики», чтобы понять плотскую духовность, духовную плотскость искусства, фактически издавна возвещавшего о Третьем царстве, — он отдал искусство на откуп миссис Бичер-Стоу, а сам от него отрекся. Но борьба человечества за истинное просвещение, о котором Гоголь в своей «Переписке с друзьями» говорил, что оно означает не назидание, поучение и образование, а просветление всех человеческих способностей, всей природы человека, — эта борьба продолжается, и в России Гоголя, и в Германии Ницше, и наблюдать за ней, любить ее, принимать в ней участие знанием и любовью — это и есть то, что я назвал «делом жизненной важности».

«Южно-немецкий ежемесячник» выдавал порой полезные и солидные выпуски, — но не бывало еще среди них более прекрасного — нет, ни разу. Это не журнальный выпуск, это же просто шкатулка с драгоценностями. Благосклонный читатель! Ты

найдешь тут отборные образцы лучшего повествовательного искусства обоих полушарий Земли.

Великий Пушкин начинает, — и все вы вместе со мною будете скорбеть о том, что он так рано и закончил, — прямо с того, что и в прозе выступает выдающимся лириком, каким он и был. Стихотворный перевод Вольфганга Грёгера, как меня уверяют, чрезвычайно, дословно точен и притом столь благозвучен, как редко бывает в этой области переводов. Где же Грёгер? Неся свою почетную службу, выражаю ему благодарность.

Дальше идет поистине гомеровский эпизод из второй части «Мертвых душ» — невозможно поверить, что написан он в ту пору, когда Гоголь был уже тяжело болен душою и жаловался в одном письме: «Работа не подвигается; иное слово вытягиваешь клещами...» Но фигура хлебосольного обжоры Петуха создана, видимо, в часы и дни, о которых истерзанный автор писал: «...иногда же милость Божия дает мне чувствовать свежесть и бодрость, тогда и работа идет свежее...<sup>4</sup> Коли пошлет мне Бог еще несколько хороших дней, какие у меня иногда случаются, я уж как-нибудь доведу дело до конца». Прекрасные слова истинного художника! Кстати, по поводу прожорливости Петуха стоит напомнить, что Гоголь и сам по природе был склонен к чревоугодию, но притом питал ипохондрическое убеждение в том, что его желудок «сотворен противоестественно» и лежит «вверх ногами». По его словам, знаменитейшие парижские доктора подтвердили ему это — что, вероятно, также существовало лишь в его воображении.

Гордый и обреченный смерти Лермонтов ведет от лица Печорина свой рассказ о необычном приключении, а когда он умолкает, слово берет уже Тургенев, автор одного из наиболее совершенных произведений мировой литературы: я имею в виду «Отцов и детей». В нашей книжке друг Флобера, ученик Гёте и Шопенгауэра предстает с самой своей русской стороны. Читаешь сцену встречи с Богородицей — Лукерьей — в пчельнике, — и не раз на глазах выступают слезы. Как литературно-исторический курьез можно принять к сведению, что, по сообщению одного русского критика, Жорж Санд была буквально влюблена в эту Лукерью. Мне хотелось бы навести свою указку на изображение летнего утра в саду — очаровательный пример простодушно-чувственного наслаждения природой и жизнерадостного мироощущения, которые так хорошо уживаются в русской литературе с вкусом к болезни и крестным мукам.

Болезнь и крестные муки! Идиллия страсти миновала, теперь раздражается адское страданье — поистине то, чем страдает



эта наша земля: перед нами встает лик Достоевского, глубокий и преступный лик святого. Если Толстой — Микеланджело Востока, то Достоевского можно назвать Данте этого края. Он спустился в ад — как можно в это не уверовать, прочитав страницы с раздирающим душу сновидением Раскольникова накануне убийства старухи-процентщицы? — За Достоевским следует Николай Лесков.

Два слова о нем. Его имя, вероятно, до сих пор оставалось неизвестным большинству читателей этих страниц, как и мне самому, пока я не прочел его рассказ «Тупейный художник», произведение первого ранга, заставившее меня с огромным нетерпением ждать уже совсем близкого выхода в свет трех томов его «Избранных сочинений». И если имя его оставалось неизвестным, то дело тут обстояло совершенно особенным образом... Русская критика не любила и не любит упоминать его, хотя время от времени — скажем, устами Венгерова — оказывалась вынужденной признать, что Лесков «в чисто изобразительной способности не уступит ни одному из великих мастеров» и что «ни один русский писатель не обладает столь неисчерпаемыми запасами фантазии». Откуда же это выпячивание «чисто изобразительного»? Лесков в политическом отношении придерживался взглядов консервативных, сотрудничал в реакционных газетах и журналах и в своих фельетонах (как и в романах, — впрочем, говорят, слабых и не составлявших подлинную основу его творчества) зло издевался над западничеством, либеральным просветительством и радикализмом. Критика так и не смогла ему этого простить, меж тем не заметив, что во многих своих превосходных рассказах он проповедовал человечность, любовь к людям и животным и сострадание к крепостным крестьянам. Да и в консерватизме его нет ровно ничего удивительного и предосудительного. Ведь в своих творениях — вот как и в мистической юмореске, представленной на этих страницах, — Лесков был до такой степени национальным, до того исконно, архи- и до самого дна русским, что в сфере политики, которой он, конечно же, должен был чураться, неизбежно представал националистом, славянофилом и ортодоксом, как и Достоевский. И это только естественно, ничего другого не приходилось и ожидать. Талант далеко не всегда и не всюду совмещается с политической доблестью. Но тем и хороша свобода, что политически умягчает народы, сообщая их духовной атмосфере терпимость в этом смысле. Чем вредят величайшему поэту сегодняшней Франции, Полю Клоделю, его ролялизм, католичество, замшелая реакционность и демонстрация

полного отсутствия любви к республиканским доблестям? Это не вредит ему ничем и ни в чьих глазах. Не знаю, считает ли нынешняя Германия себя свободной. Если нет, надо, как и прежде, молиться вместе с Грильпарцером:

Господи, нас сохрани,  
немцев освободи,  
чтоб наконец они  
в тихие жили дни!

Короче говоря, то, что волей или неволей прощали автору «Братьев Карамазовых», бедному Лескову не простили. Имя его не упоминается, — или по меньшей мере не упоминалось до недавнего времени — среди имен великих. А ведь он был не просто великолепным рассказчиком, но и, как меня уверяли, писал на чудном русском языке, а уж душу русского народа выразил так, как выражал кроме него лишь один. И этот один, Достоевский, в «Дневнике писателя» удостоил один лесковский рассказ из жизни раскольников — «Запечатленный ангел» — обстоятельного разбора.

Но хватит об авторе «Чертогона». На что же можно из-за нехватки места только показать пальцем у величайшего из эпиков, у Толстого? Я выбрал эпизод с солдатом Авдеевым из «Хаджи-Мурата», характерный для мощной ясности его приемов и средств художественного воздействия. Беру на себя ответственность и за мнение, что «Мальчики» Антона Чехова не сравнимы с другими, может быть, и более важными произведениями этого роскошного новеллиста. Такое признание я сделал ради глубоко отрадной веселости этой новеллы и потому, что в своей неприятельности она являет собою удачнейший пример русского юмора просто от избытка жизненных сил.

Переполох, поднявшийся по приезде мальчиков, этот пахнувший морозом Володя, приготовления к Рождеству, изготовление цветов, — ах, такие вещи заставляют любить жизнь! Так эти мальчики, стало быть, тоже грезили «Калифорнией», совсем как наши? Как же это все-таки чудесно! Ибо какая же экзотика хватает за душу глубже, чем северо-восточная? Скажем, экзотика темнокожая, толстогубая, с кольцами в ушах, — просто ничто, как нам сдается, в сравнении с глазами-щелками из зеленого льда и степными скулами. Если человека зовут Чечевицын, то, кажется, чего уж большего и хотеть? Так нет, ему надо непременно попытаться удрать в Америку Буффало Билла, точно

он какой-нибудь Фриц Мюллер. То, что не ты сам, — это и есть приключение.

Прозвучала фамилия Сологуб. «Береза!» — сразу сказал я. — «Точно так, Белая береза», — с улыбкою отвечал Элиасберг. Теперь все стало ясно, и я был этим обрадован. Сологуб — критик жизни, великий, отважный и фантастический, но ни один из его писательских даров не люблю я так сильно, как эту маленькую историю, полную блаженной горечи, беспомощной тоски, болезненной отрады и нежной безнадежности.

Что же до Кузмина, то перед нами — современный петербуржец, человек высокой культуры, подчас франкофильствующий, влюбленный в рококо в силу своей чувственности и удовольствия от игры масок, европеец, не слишком-то русский. Он написал «Александрийские песни», да и сам похож на александрийца со своим ощущением закатности. Впрочем, в эротике он поклонник строгости и меланхолии<sup>5</sup>. Рассказ, помещенный в нашем выпуске, — один из лучших у него. Голос повествователя тих, но очень четок. — А после рейнско-любовного стихотворения Брюсова, звучащего как привет с той стороны (имя немецкого поэта — Гейне — рифмуется в нем со словами «в сладкой тайне»<sup>6</sup>), книгу блистательно завершает гротеск Алексея Толстого, этого экспрессионистического Гоголя.

Ай да книжка! Ступай же, книжка моя, вот я и вывел тебя перед публикой! А коли я нехорошо справился со своим делом, зато ведь само-то дело было хорошее. Потому что Россия и Германия обязаны узнавать друг друга все ближе и ближе. Они должны рука об руку идти в будущее.

